

# Юрий Рост **Групповой портрет на фоне мира**



Москва, 2014

**УДК 070**  
**ББК 76.01**  
**Р78**

Дизайн – Аркадий Троянker

**Рост Ю.**

**Р78** Групповой портрет на фоне мира / Юрий Рост. — М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. — 608 с.

ISBN 978-5-9614-4566-4

**УДК 070**  
**ББК 76.01**

© Ю. Рост, 2014  
© ООО «АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР», 2014

**ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ КНИГИ** Была у меня романтическая фантазия: государства поймут наконец, что угроза человечеству — они сами, с жестоким прагматизмом, безрассудно рациональным расходом природы, поощряемой этнической нетерпимостью, совершенными технологиями убийства, подчинением личности идее укрепления все равно какого строя. Словом, эти самые государства, возникшие естественно или искусственно и все-таки во времени, осознают, что надо, не смешивая языки, найти единый язык общения и строить Вавилонскую башню терпимости друг к другу. А для этого вместо натаскивания молодых своих граждан на охоту за молодыми, а заодно и зрелыми гражданами других стран, приучать их к постижению поразительного, недоступного политикам узнавания: везде люди! Везде непрменной красоты (если она не тронута безумием приспособления) природа. **Мир** един и невелик. **Узнавай, мой брат!** **Вот** тебе рюкзачок вместо солдатского вещмешка. Вот тебе автоматический фотоаппарат вместо автоматической винтовки. Вот тебе потребных денег на билет. На харч и обратный билет заработаешь сам. Вот тебе джинсы, года на два хватит. **Ступай!** Ты обязательно вернешься обогащенный открытием, что в мире многие лучше тебя, следовательно — равные тебе. **Но** брат мой пока не идет. Даже в фантазии. Не беда, будем приучать любить и понимать мир. На то «Групповой портрет на фоне мира». Природа в книге будет в красках, какой создал ее Творец, а люди все-таки черно-белыми, поскольку достраивали себя сами, да и чтобы меньше отвлекаться на цвет кожи. **Этот** том — твой рюкзачок. В него мы сложили для тебя образы (ну, часть, конечно), которые ты и сам различишь в пути. Не важно, где он проляжет и кого встретишь. Главное, ступай с миром и гляди с соучастием!

**ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ: МОНГОЛЬФЬЕР ВРЕМЕНИ — А**

на какой примерно высоте летают обычно ангелы? — спрашиваем мы с сыном Митей Муратовым, проплывая на воздушном шаре в районе Сергиева Посада /с. 341/. **С** земли слышен лай собак и негромкие переговоры местных жителей по поводу того, что нам нечего, по-видимому, делать, вот мы и летаем.

**Э**то правда, мы парим в тишине исключительно для радости. **П**илот монгольфьера Сергей Баженов, фыркнув горелкой, подпустил в баллон, напоминающий формой и цветом гигантское пасхальное яйцо, теплого воздуха, и шар, задумчиво преодолевая инерцию покоя, поднялся в легкие облака. — **Н**аверное, на такой вот и летают. Чтоб из рогатки не пальнули или, не дай Бог, из ружья.

**В** просвете показалась Троице-Сергиева лавра. — **С**нимай! — закричали Муратов и Баженов. — Так ведь ее никто кроме них не видел. **А**нгел по небу летает, / **Н**ад пространствами скользит, / **В**се за нами замечает, / **О**храняет, поучает, / **С**рого пальчиком грозит... **О**тпусти нас, добрый ангел / **И** лети, куда летел. / **Н**е следи за нами, ангел — / **У** тебя довольно дел.

**Д**ай покоя, славный ангел — **О**браз жизни измени. / **Н**е летай так много, ангел — / **Л**учше маме позвони. **Н**ет! Он все-таки летает / **В** платье белом и простом. / **Т**ихо крыльями мотает, / **Н**аблюдает, направляет, / **Н**ичего не понимает — / **Л**егче воздуха при том. **Л**егкий ветер нес шар вместе с облаками

на север. В плетеной ивовой гондоле, окруженной белым мраком, пространство не чувствовалось. И время нечем было померить — фляжка давно опустела. Внезапно небо очистилось, и мы увидели под собой широкую мелкую реку и деревню с деревянной церковью под весело раскрашенными куполами. На околице стояли нарядно одетые женщины и дети. **О**пустились. — **Ч**то за праздник у вас? — спрашиваем.

— **Т**ак вы прилетели, вот мы и обрядились в старинное, у кого сохранилось. Чтоб лучше быть, — говорит бабушка в фартуке. —

**К**уда уж лучше, — распахивает руки Митя. — Вы замечательные! Мы вас сразу любим. — **Я** же говорила, они теперь бригадами летают, — улыбнулась женщина в роскошной меховой шапке. — А вы все — где крылья да где крылья?

— **К**акой нынче год? — спрашиваем. — **У** нас-то? Шестидесят четвертый вроде, а у вас? — **У**-у-у!



**ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ МИРА: ПОКА ЕЩЕ НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО.** Функция человека на земле — жизнь. Она же является и смыслом. Поиски иного смысла жизни — лишь попытка оправдания своего существования в то время, когда ушла любовь и ты более не нужен природе. Задача человека — если он, во спасение, полагает себя уместной частью созданного не им мира, — это поиск и сохранение любви. Любые отношения, построенные человеком с другими людьми без любви, порождают общество. Нет ничего враждебнее для живого, чем собрание людей по идеологическому или профессиональному признаку. Альтруист — порождение общественного сознания. Он друг всем и поэтому свободно пренебрегает каждым. Альтруисты устраивали войны, революции, отравляли реки и озера, вырубали леса, вели этнические, политические и религиозные чистки во имя какого-то общего блага. Между тем общего блага на земле нет и не бывало никогда. И человек, владеющий единственной своей жизнью, уступал другому, владеющему тысячами чужих. Эгоисты писали книги и картины, влюблялись, сажали хлеб, строили дома и храмы, деревья растили и детей, чтобы им — эгоистам — было комфортно и не стыдно. Эгоисты умирали, истратив функцию жизни и любви, не принеся вреда природе и окружающим. Альтруисты остались в истории. Память живущих хранит с почтением имена негодяев, тиранов и убийц, давших пример существования вне природы и любви. Люди, обитающие без функции жизни, хотят оправдания своего осмысленного пребывания на этой земле. Многие из случайных счастливых, появившихся на свет, мечтают следовать отвратительным примерам. Не имея возможности унижить страны и народы, они унижают замысел. И крушат. И воруют. И убивают, убивают, убивают... Одних живых людей во имя других. Но у Бога нет других. И Бога другого нет. И Небо одно. И Время одно. Просто мы видим по-разному, чувствуем, слышим и считаем. Две тысячи лет новой эры и бесконечность — до. А у других какие наши годы? Радуйся сам. Никого не заставляй. Хотят — пусть присоединяются. Пусть празднуют, если в счастье... Оглянись, что осталось от твоей родины-земли, сотоварищи пусть оглянутся. Погладь те места, которые не порушил; в те изгибы, которые не сам сляпал, лбом уткнись, глаза закрой и затихни ненадолго. И если что стоит толком в этом теплом месте, не ломай. Ну не ломай! Не круши, не воруй, не убивай, не убивай, не убивай... Береги жизнь, землю — место ее обитания. И люби! **P.S.** Повезло мне. Насмотрелся результатов альтруистической деятельности на всех континентах. Неживая природа — не природа уже. Пашут бомбардировщиками, боронят танками, едят хлеб с лавсаном. Пусть им. Но и эгоисты живы: не поставили локационную станцию на красном камне в Австралии, не пустили галапагосских игуан на окорочка, не переплавили песок Куршской косы на керамические чипы, тибетские храмы не превратили в гостиницы, не перегородили африканский водопад Виктория плотиной. И не выпили море... Есть пока. Вот нам монгольфьер, наполненный теплым дыханием. Летайте! Любите! Плавайте! Парус нам в руки...



Розовое облако / Пролив Магеллана / Аргентина

**ДВА ГОДА ЖДАЛА** Вот такая история произошла когда-то в московском аэропорту Внуково. Шла посадка на самолет «Ил-18», отлетающий куда-то на Север. Люди суетливо семенили за дежурной, спеша первыми сесть на тихие места в хвосте. Лишь один пассажир не торопился. Он пропускал всех, потому что летел с собакой. Аэродромные техники, свидетели этой истории, утверждали, что у человека был на собаку билет был, но овчарку в самолет не пустили — не оказалось справки от врача. Человек доказывал что-то, уговаривал... **Не** уговорил. **Тогда**, во Внукове, он обнял пса, снял ошейник, пустил на бетон, а сам поднялся по трапу. Овчарка, решив, что ее выпустили погулять, обежала самолет, а когда вернулась на место, трап был убран. Она стояла и смотрела на закрытую дверь. Это была какая-то ошибка. Потом побежала по рулежной дорожке за гудящим «Илом». Она бежала за ним сколько могла. Самолет обдал ее горячим керосинным перегаром и ушел в небо. **Собака** осталась на пустой взлетной полосе. И стала ждать.

Первое время она бегала за каждым взлетающим «Ильюшиным» по взлетной полосе. Здесь впервые ее и увидел командир корабля «Ил-18» Вячеслав Александрович Валентэй. Он заметил бегущую рядом с бортом собаку и, хотя у него во время взлета было много других дел, передал аэродромным службам: «У вас на полосе овчарка, пусть хозяин заберет, а то задавят». **Потом** он видел ее много раз, но думал, что это пес кого-то из портовых служащих и что собака живет рядом с аэродромом. **Он** ошибся, собака жила под открытым небом, на аэродроме. Рядом со взлетной полосой, откуда было видно взлетающие «Илы». Позже, спустя некоторое время, она, видимо, сообразила, что уходящие в небо машины не принесут ей встречу, и перебралась ближе к стоянке. **Теперь**, поселившись под вагончиком строителей, прямо напротив здания аэровокзала, она видела приходящие и уходящие «Ил-18». Едва подавали трап, собака приближалась к нему, и, остановившись на безопасном от людей расстоянии, ждала. **Прилетев** из Норильска, Валентэй снова увидел овчарку. Человек, переживший Дахау, повидавший на своем веку много горя, он узнал его в глазах исхудавшей собаки. **На** следующий день мы шагали по летному полю к стоянкам «Ил-18».

— **Послушай**, друг, — обратился командир к заправщику, — ты не видел здесь собаку?  
— **Нашу?** Сейчас, наверное, на посадку придет. — **У** кого она живет? — **Ни** у кого. Она в руки никому не дается. А иначе ей бы и не выжить. Ее и ловили здесь. И другие собаки рвали, ухо у нее, знаете, помято. Но она с аэродрома никуда. Ни в снег, ни в дождь. Все ждет. — **А** кто кормит? — **Теперь** все мы ее подкармливаем. Но она из рук не берет и близко никого не подпускает. Кроме Володина, техника. С ним вроде дружба, но и к нему идти не хочет. Боится, наверное, самолет пропустить. **Техника** Николая Васильевича Володина мы увидели возле самолета. Сначала он, подозревая в нашем визите неладное, сказал, что собаку видел, но где она, не знает, а потом, узнав, что ничего дурного ей не грозит, сказал: — **Вон** рулит 18-й, значит, сейчас придет. — **Как** вы ее зовете? — **Зовем** Пальма. А так, кто на аэродроме знает ее кличку? **«Ил-18»**, остановившись, доверчивал винты... От вокзала к самолету катился трап. С другой стороны, от взлетной полосы, бежала собака — восточноевропейская овчарка с черной спиной, светлыми подпалинами и умной живой мордой. Одно ухо было порвано. Она бежала не спеша и поспела к трапу, когда открыли дверь. — **Если** б нашелся хозяин, за свои деньги бы отправил ее к нему, — сказал Валентэй, — и каждый командир в порту взял бы ее на борт... **Собака** стояла у трапа и смотрела на людей. Потом, не найдя, кого искала, отошла в сторону и легла на бетон, а когда привезли новых пассажиров, подошла вновь и стояла, пока не захлопнулась дверь. **Что было дальше** Этот вопрос в той или иной форме содержался в каждом из многих тысяч писем, полученных редакцией той старой «Комсомолки» после публикации «Два года ждет».

**Нет**, хозяин не прилетел за Пальмой. Но все-таки нашелся. **В** Норильске пилоту Валентэю передали листок бумаги, исписанный печатными буквами без подписи. В записке говорилось, что год и восемь месяцев назад написавший ее человек летел из Москвы на Енисей через Норильск. Приметы собаки: левое ухо порвано и левый глаз больной. Эта деталь давала основание предположить, что писал и вправду бывший хозяин собаки: о том, что глаз у овчарки ранен, я никому



не рассказывал. Из-за этого глаза, по утверждению хозяина, ему и не дали справки. Теперь, спустя два года, он, видимо, побоялся осуждения друзей и близких за то давнее расставание с собакой и не решился объявить о себе.

**З**а собакой он не собирался возвращаться, а хотелось идиллического финала. Он и наступил, правда, совсем другой. Сотни людей из разных городов собирались забрать собаку себе домой, а улетела она в Киев.

**К** моменту, когда доцент киевского пединститута Вера Котляревская с помощью аэродромных служащих добралась до Пальмы, собака была напугана чрезмерным вниманием сочувствующих и ретивых специалистов по отлову беспризорных животных, которых на активность спровоцировала публикация в старой «Комсомолке», перепечатанная во всем мире. Нужно было преодолеть настороженность собаки и завоевать ее доверие. Дело было сложное. Котляревская проводила с Пальмой дни от зари до зари, проявляя терпение и такт.

**Н**астал день эвакуации. Овчарке дали снотворное и внесли в самолет. Веру Арсеньевну и Пальму сопровождал в пути добровольный помощник, врач-ветеринар Андрей Андриевский.

**П**ервое время Пальма чувствовала себя неуютно в новом киевском жилище. Но большая семья Котляревских хорошо подготовилась к приезду внуковской овчарки. Дома говорили тихо, чтобы не напугать собаку, не закрывали дверей комнат, чтобы она не чувствовала себя пойманной... Постепенно Пальма стала приживаться.

**В**ера Арсеньевна записала в дневнике: «Очень уравновешенная собака, с устойчивой нервной системой и стойкой привычкой к человеку и дому». И еще одна запись, из дневника: «Дома подошла к спящей дочке, полизала щеку и осторожно взяла зубами за ушко».

**А** потом у Пальмы появились щенки. Три.

**Собака как государство (комментарий спустя годы)** Ну да! Она охраняет дом, защищает хозяина, хранит верность. У нее и конституция поведения есть, неизменная и выполняемая. Собаке как государству все равно, какой веры человек, богат он или беден, знаменит или безвестен. Она друг человеку и не нападает на него, если не бешеная.

**П**охоже на идеальное, то есть нормальное, государство. А нашему уступает. В цинизме, вероломстве и способности быстро и выгодно приспособиться к новому хозяину. Что поделаешь — животное все-таки. Бескорыстно привязывается. И навсегда.

**С**орок примерно лет назад, осенью 74-го года, некий человек покинул на взлетном поле Внуковского аэропорта товарища (овчарку), потому что был воспитан в таком государстве. И улетел.

**А** она осталась ждать. **Д**ва года зимой и летом, и в дождь подходила она к трапу прилетающих самолетов «Ил-18», на котором убыл ее подданный, и встречала его.

**О**на соблюдала нравственный закон, хотя человек его нарушил. Не важно. Это был ее закон.

**Я** написал об этой истории, миллионы читателей у нас и в мире всплакнули над судьбой Пальмы (как ее звали аэродромные работники и пилоты), и тысячи прислали деньги на поддержание жизни собаки, и тысячи хотели улучшить судьбу овчарки, враз ставшей мировой знаменитостью. Очень хотелось присоединиться к истории чужой любви и верности. Похвально.

**М**ежду тем эти тьмы сочувствующих драматической жизни и желающих принять в ней немедленное участие могли бы удовлетворить свой гуманизм, обратив взор на жизнь тех, кто окружает их повседневно и нуждается в помощи.

**Н**о там необходимо было поведение, а они готовы были лишь к поступку. Вскрикнуть-то мы всегда в состоянии. **В**скрикнуть и затихнуть до следующей остановки. Не готовы к проявлению чувств на протяжении всего пути.

**П**осмотрите на собаку, на животное, исполненное достоинства постоянства и верности. Этому «государству» с умными глазами мы нужны. А тому, с холодными, зачем? Зачем и они нам, верные Русланы, натасканные на тех, кто выходит из организованной колонны? Они и своих порвут за власть и богатую хавку.

**П**альма ждет на аэродроме, а мы бросили ее и боимся вернуться. Вернись, вернись, гражданин, в свою страну — она нуждается в тебе! Не бросай ее на произвол.

**В**ы, что так переживали, сострадали и надеялись, остановите тех, с петлями, крючьями и клетками. Пока можно.

**Н**айдите, как нашлись Вера Котляревская, терпением и любовью завоевавшая доверие овчарки, аэродромные техники и пилоты, спасшие когда-то собаку — как государство.

**Е**й-богу, между государством и собакой есть общее: охранять дом, защищать хозяина и не воровать со стола.



Овчарка встречала и провожала во Внуково все самолеты «Ил-18»







Красная крыша





Оставил палитру и ушел



Балетмейстер Борис Эйфман во дворе на Мойке / Петербург / Россия





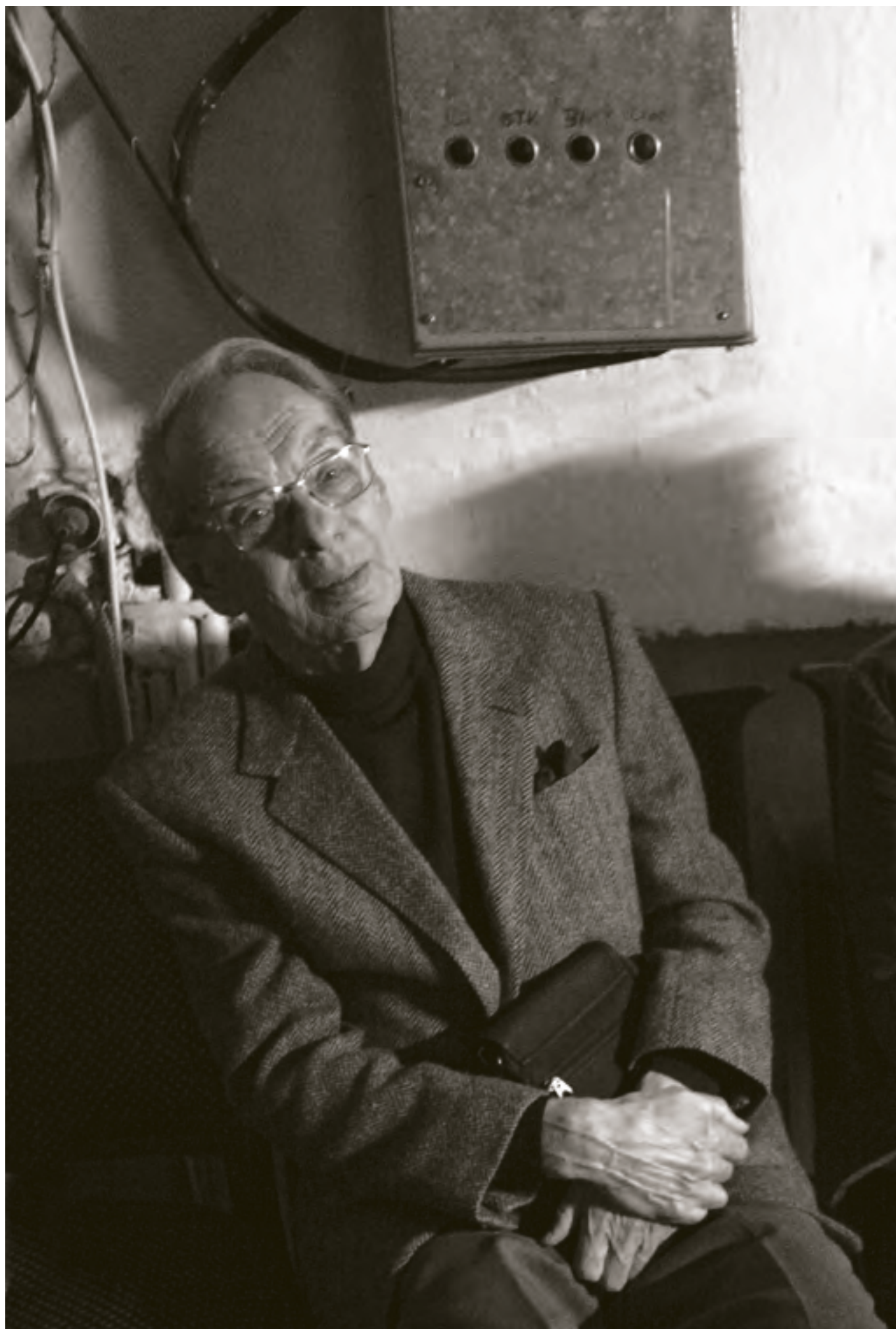
Клоун Вячеслав Полунин / Петербург – Париж / Россия – Франция



Уличный наблюдатель / Стамбул / Турция







Актер Алексей Баталов / Москва / Россия





Старуха в марании / Кахетия / Грузия



Сценограф Сергей Бархин в шляпе / Москва / Россия





Сергей Параджанов в своем дворе / Тбилиси / Грузия







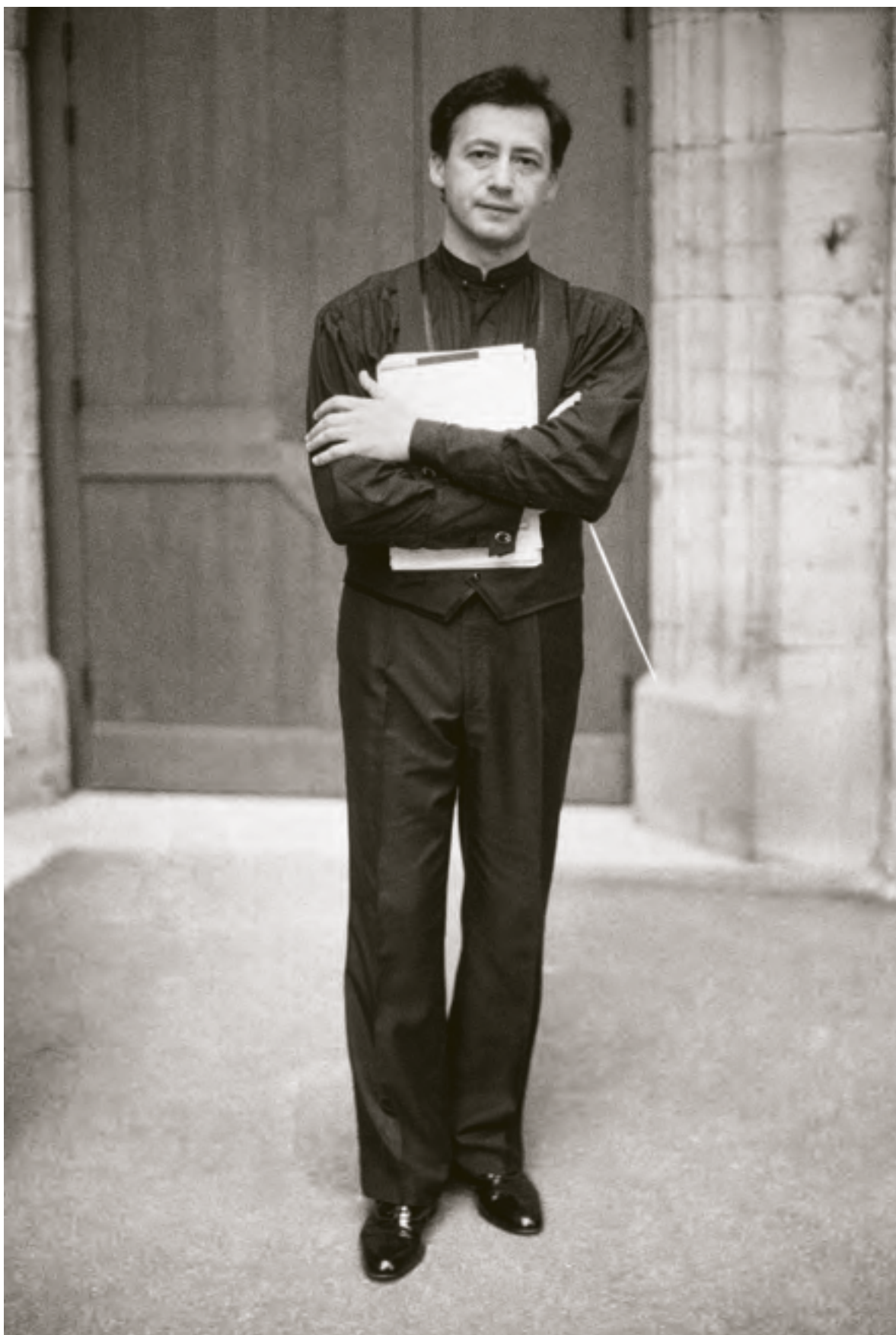


Индец дует в геликон / Озеро Титикака / Боливия



Иннокентий Смоктуновский и Олег Ефремов на сцене МХТ / Москва / Россия





Скрипач и дирижер Владимир Спиваков / Москва / Россия

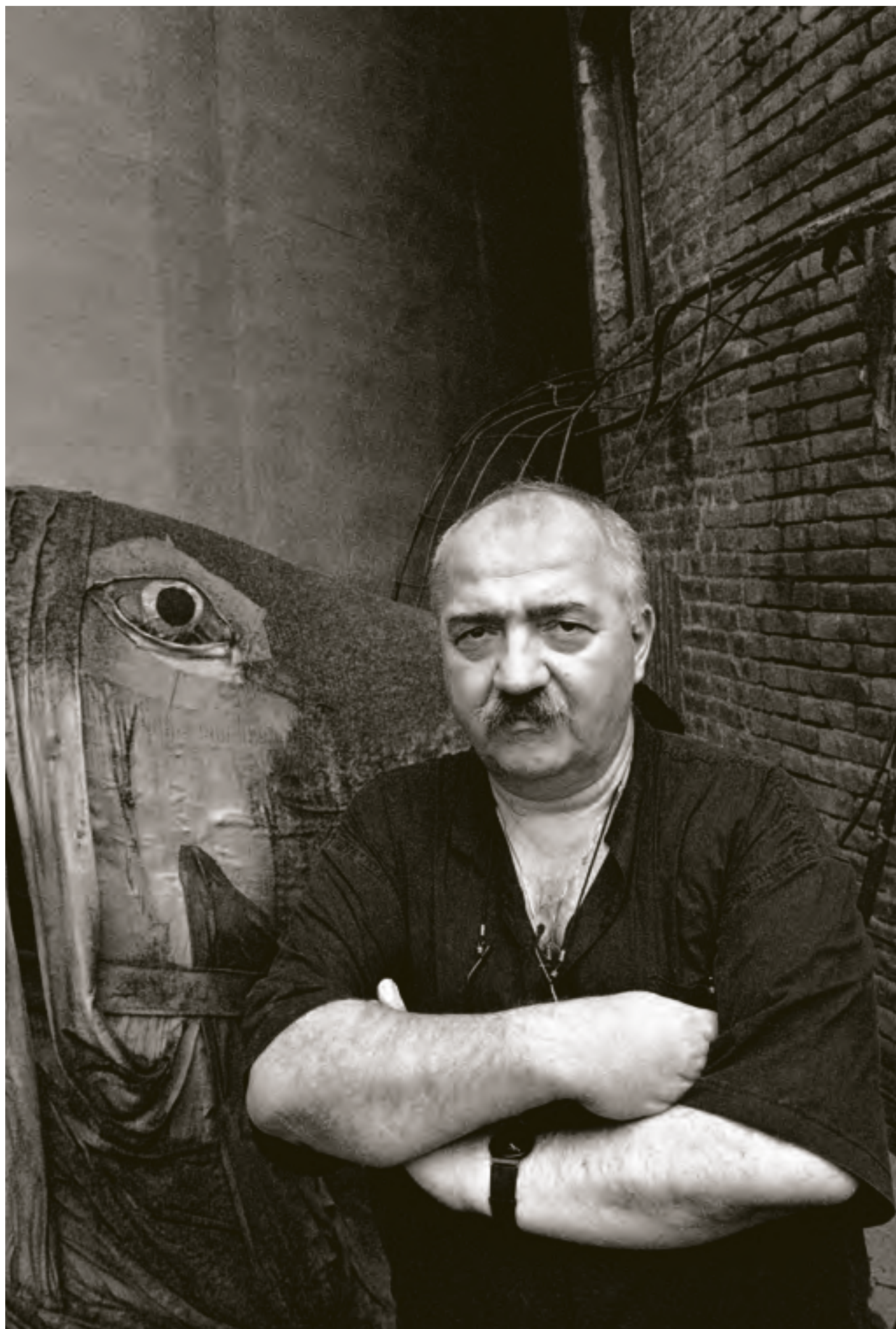


Философ Алексей Федорович Лосев в своем кабинете на Арбате / Москва / Россия





Девочка с экватора / Эквадор



Режиссер Роберт Стура / Тбилиси / Грузия





Золотой слиток

**РАЗГРЕБАЮЩИЙ ТЕМНОТУ** Юрий Борисович Норштейн предполагал родиться в Марьиной Роще в Москве против ночи, если только мне не изменяет память, на 15 сентября сорок первого года в мирное время. Но война спутала его планы, и он появился на свет в деревне Андреевка Головинищенского района Пензенской области, куда его мама, воспитательница детского сада (пока папа, наладчик деревообрабатывающих станков, был на фронте), отправилась в эвакуацию. Скоро, однако, юный Юрий Борисович вернулся в Марьину Рощу, где осознал себя человеком и жил в гармонии с послевоенным московским временем, играл со сверстниками, которые большей частью и по обычаям тех дней и мест носили не имена, а клички. Некоторые дворовые знаменитости обрели впоследствии большую и печальную известность, как, допустим, Япончик, Слава Иванович. Однако Юрия Борисовича Серенький Волчок уберег от дурного влияния Марьиной Рощи, и он рос рыжим кучерявым любознательным мальчиком, хотя школьными занятиями себя не изнурял. Он рассматривал мир и лица, его населяющие, рисовал их в своем воображении, а когда стал постарше, перенес на бумагу. Иногда он смотрел в окна ткацкой фабрики, что была во дворе напротив, на гигантские бездушные, но ловкие в своей механической прыти мотальные станки, на маслянистый воздух уходящих в сумрак чрева цехов, на бесконечно однообразные движения людей, бездумностью движений копирующих машины. Ни о чем не думал в эти минуты Юрий Борисович, но мозг мимо воли его запоминал картину, заталкивал в темный угол сознания с прочей ненужной дрянью. Говорят, японцы, если год-другой не пользуются вещью, выбрасывают ее. Мысль, впрочем, не вещь, да и Юрий Борисович не японец, хотя там его почитают на манер кинематографического божества, а фильмы «Ежик в тумане» и «Сказка сказок» признаны лучшими анимациями всех времен и народов. Справедливо. Через много лет образ тусклого маслянистого (теперь от лампадного масла) мира явится в норштейновской «Шинели», шедевре несравненном, не законченном никогда, потому что продолжающемся, как живая жизнь наша, и Юрия Борисовича, и Башмачкина Акакия Акакиевича. «...Миссия Башмачкина, — сказал как-то, приземлившись у железнодорожных путей Савеловского направления, воздухоплаватель Винсент Шеремет, самопровозглашенный знаток разнообразных процессов, — утверждение человеческого в этом бесчеловечном, механическом мире. Ему вовсе и не должно знать о своей миссии. Это мы знаем, а он просто живет жизнью естественного и вполне счастливого обитателя земли, и все, что с ним происходит, естественно. Он любим буквами, любит их и строит свой мир из букв. Господь, собственно, с чего начал строить? В начале что было? Для Акакия это тоже слово». Тут Винсент оглядел отсутствующих слушателей, дал газ в форсунку и улетел. А Юрий Борисович остался в Марьиной Роще и, повинаясь правде, которая порой его обуревала до такой степени, что он ее высказывал, крикнул вдогонку: — Да я и не думал вовсе о «Шинели», и кино с мультипликацией мне было неинтересно. Я мечтал стать живописцем. Меня волновали соотношения цвета и формы. Он учился в художественной школе Краснопресненского района, где его друг Володя Морозов предложил подать в 1959 году документы на курсы мультипликаторов. Юрию Борисовичу это занятие категорически не нравилось, но мебельный комбинат нравился еще меньше. Собрав свои работы, он отправился к соседу своей тети Мани — в прошлом воевавшему летчику и режиссеру мультфильмов Роману Качанову. Крупный мужчина в свитере а-ля Хэм слушал по радио песню: «Самое синее море, черное море мое». Дослушав ее до конца, он посмотрел работы, сказал: «Слабенькие рисунки, однако что-то в них есть. Подавай документы». Закончив курсы, Юрий Борисович мультипликацию не полюбил. И когда Роман Давыдов дал ему эпизод про химию в фильме о развернутом плане народного хозяйства, даже загрузил: «И этим заниматься всю жизнь». Дома у холстов отходил душой. Уже работая на «Союзмультфильме», сбрав работы, он отправился поступать в Строгановку. Это было время, когда кучерявый абитуриент с фамилией Норштейн, пусть и очень способный, шансов поступить имел немного. Друг Юрия Борисовича, замечательный художник Наталья Нестерова, рассказывала, что ее маме Зое Николаевне признался преподаватель, что завернул юного рыжего живописца. Посмотрев работы, экзаменатор сказал: — Вы — сложившийся художник. Зачем вам учиться? Во ВГИКе его тоже посчитали сложившимся художником, и он отправился работать на мебельный комбинат рабочим. Он не сказал: «Зачем вы меня обижаете?», даже не подумал. Он был сильный самостоятельный мальчик, хотя и несколько опечаленный. Но в музеи его пускали, книги ему продавали. Он с увлечением читал, купленные по случаю в букинистическом магазине, лекции Эйзенштейна с разборами эпизодов убийства старухи Раскольниковым. Эйзенштейн, которого Юрий Борисович считал



Юрий Норштейн



самым образованным человеком своего времени, увлек Норштейна. Он подписался на шеститомник Сергея Михайловича, и в 67-м году, когда вышел третий том, женился на Франческе Ярбусовой, бессменном и прекрасном художнике всех его знаменитых фильмов. **В** этом же году Норштейн с Аркадием Тюриным сделали фильм «25-е — Первый день». Юрию Борисовичу пришла мысль снять кино на основе искусства авангарда о первых днях революции. **Он** открыл для себя (и нас) новую выразительность анимации. Его любимая живопись заговорила на языке кино. **Фильм** с трудом приняли, и хотя его пустили на пару недель на экран, Юрий Борисович решил с этим всем кино покончить. Но великий Федор Хитрук, которому картина понравилась, отговорил его... **Понимаю**, что вам хочется, чтобы мы продвинулись в рассказе, и читатель наконец узнал, чем закончится великий фильм Норштейна «Шинель», но мы и сами этого не знаем. Да и закончится ли? Юрий Борисович работает над ним и, вероятно, будет работать всегда, а кроме того, если мы перескочим, вы не узнаете, кто первый сказал Норштейну «гений». **В** 1962 году за скверную работу его перевели в «фазовщики». Это тоже профессия, но классом ниже. Ненависть к мультипликации была такой, что и здесь он напорол изрядно. **Начальник** вызвал Юрия Борисовича и велел идти к режиссеру Каравачеву. Валентин Каравачев, впоследствии друг Норштейна, разложил рисунки-фазы и сказал: — **Ну**, ты, гений, посмотри, что ты натворил. **Он** посмотрел — правда. Бежать надо, бежать! **Тут** опять прилетел шар, и Винсент Шеремет, увидев Норштейна, которого за слабые достижения в области фазовки перевели на кукольную студию к Владимиру Дегтяреву «оживлять» лягушку в фильме «Кто сказал “мяу”?», закричал ему из гондолы на весь Спасопесковский переулочек: **«Вылупившись из яйца и будучи кристально чистым и счастливым существом, не имея ни знаний, ни культуры, ни веры, в процессе освоения слов, любимых букв, он обучается. Он понимает, что шинель сшита из слов... И он все время пишет. Пишет. И он не унижен трудом. Как он может быть унижен, если у него есть чувство. Он обделен любовью, но сам-то любит пусть слова. Да и сама любовь тоже слова. А что Христос без слов? Он сказал: “Встань и иди!” И ты иди».** — **Ты** о ком это все? — крикнул Юрий Борисович воздухоплавателю. — **Об** Акакии Акакиевиче Башмачкине. — **До** этого еще далеко. — **Ну**, не так уж далеко! — крикнул воздухоплаватель и, захрапев горелкой, улетел. **«Не** так уж далеко...» Это как посмотреть. Пожалуй, несколько жизней, если считать, что каждый фильм — одна. Первая была совместной, в которую его пригласил мэтр Иванов-Вано. Сорежиссером. Норштейн переделал все фоны, разработал весь монтаж и цветовую гамму. Фильм «Сеча при Керженце» получил премии. Иванов-Вано настоял, чтобы Норштейн в титрах значился режиссером, однако в этом качестве его признавали на студии немногие. **В** коридоре коллега увидел Иванова-Вано и распахнул руки: «Иван Петрович, вашему фильму присуждена премия». Норштейн стоял рядом, но его словно и не заметили. Это была обидная малость, и она его зацепила, раз запомнил. Но значила она ерунду по сравнению с главным — он почувствовал вкус к мультипликации. Понял, что язык, ее изобразительный ряд могут быть другими. Философские притчи, наполненные тонким лиризмом и необыкновенной глубиной, последовали одна за другой. **Вслед** за «Лисой и зайцем» последовал фильм «Цапля и журавль», в котором Юрий Борисович увидел гоголевский (или чеховский) сюжет, блестяще воплощенный художником Франческой Ярбусовой и оператором Александром Жуковским... «Ежик в тумане» и «Сказка сказок» сделали Норштейна всемирно любимым. **Он** считал, что каждая новая работа должна идти с повышением сложности. Она должна уметь. **Снимая** «Сказку сказок», Юрий Борисович знал, что будет снимать «Шинель». **Я** встретил его в квартире Пушкина на Мойке, куда он приехал к нашему общему другу — тогда смотрителю святого места — Нине Ивановне Поповой. Ходил, рисовал, записывал. Это было задолго до начала съемок. А еще раньше он читал гоголевскую повесть в вечерних сумерках, сидя напротив окон знакомой нам ткацкой фабрики в Марьиной Роще. Пейзаж дополняли завод по производству оборудования для московской газировки и комбинат вторичного алюминия, куда привозили разбитые самолеты. Он чадил, покрывая снег черной копотью. Под тусклым светом грязных окон Норштейн знакомился с Акакием Акакиевичем Башмачкиным. **Марьянские** ребята много читали впрок: в лагерях рассказчики сюжетов пользовались уважением, а Юрию Борисовичу «Шинель» пригодилась на воле. К тому же всякий порядочный человек отыскивал в жизни чиновника те чувства, которые испытывал и сам. **Разумеется**, Норштейн был Башмачкиным в той же степени, что и деревом из «Ежика», но как человек, испытывающий давление и унижение со стороны более сильных, чувствовал с Акакием все же более близкое родство, чем с деревом, хотя бы потому,



что в мультипликации ты должен все пережить сам. Сам (без помощи актеров, как в художественных фильмах) все сыграть. И произвести это в одиночестве сам себе, представляя потом зрителю героев, в которых ты органично зашифрован. — **С**тепень твоего зашифрованного участия велика? — **З**начительна. После войны, например, между рамами зимой прокладывали веревочку конец которой опускали в стаканчики для сбора конденсата. Я помню. Были ли у Акакия Акакиевича двойные рамы? Не знаю, но образно это совершенно уместно. Ролан Быков сказал мне об этой детали, выразительно точной, спросив, где я ее откопал. Это правдоподобие, которое больше правды, ибо оно продукт постижения правды, а это художественно верней. — **А** степень твоего неучастия? — **Т**оже значительна. Я могу погладить собаку, а Акакий нет. Мне кажется, его не интересует окружающий мир. Он его не знает и не видит. Его мир — буквы. Тут он государь. Он Бог! — **Д**а, Башмачкин — счастливый человек. — **Н**у, конечно. Круг жизни, который был ему определен, он покрывал. Он, как Хома в «Вие», очертил себе защищенное пространство, за пределами которого все враждебно. Закрой глаза, и нет его, и надобности в нем нет. То, что у Гоголя между строк, я заполняю действием. Мне важно, чтобы запомнили образ, раскрывающий зримость слова... **М**не, зрителю, это тоже важно, и я хочу, чтобы мое представление об образе и собственно образ, созданный Норштейном, совпали, не вытеснили друг друга. **П**ока эти существующие двадцать с небольшим минут экранной жизни Башмачкина являют собой поражающее воображение слияние придуманного и реального (правдоподобного). Не актер, играющий Акакия (хоть бы и такой, как Ролан Быков в фильме Баталова), а собственно Башмачкин, маленький чиновник, заставляет меня думать о себе. **Б**удучи ограничен кругом, он не был элементом толпы, не входил в общество, не стал его частью, и это было неосознанным вызовом. **С**троительство шинели должно было подтвердить совершенство его жизни — счастливого человека. Она (кроме того, что давала комфортное тепло) стала символом, его храмом (Норштейн говорит, собором). Разрушение храма опровергло его веру в возможность прожить жизнь в гармонии со словами. Триада любви: слова — шинель — Акакий — не случилась, идея разрушилась, и жизнь стала обузой. **А** может, и не могла случиться: шинель меняет, точнее, дает место в среде, которое ему было безразлично. Получается, что человек, обладая свободой, подсознательно стремится ее потерять. Избавление от возникшей зависимости он воспринимает как потерю смысла жизни. И умирает. **Е**сли бы Акакий остался в шинели, возможно, он потерял бы больше, чем обрел. Он был бы неинтересен не только нам, но и Гоголю. **Р**азговаривая на скамейке у нашего общего друга Андрея Казьмина, мы не заметили, как к нам подплыл воздушный шар. — **Х**отите историю о чиновнике, который мечтал о шинели и получил ее? — закричал Винсент и сбросил нам листок бумаги. **Д**ействительно трагическая история чиновника (сброшено с воздушного шара). **П**озволю себе смелость предложить (не Юрию Борисовичу, упаси Боже!) несколько не библейский сюжет современного прочтения гоголевской «Шинели», который освободит населяющих родное пространство зрителей, мало способных в основном на благородное движение души от необходимости «пожалеть» главного героя, хотя он, скорее, брат их: **«С**идит в присутствии маленький (и по масштабам присутствия) чиновник и переписывает бумаги и донесения до начальства. Пост и звание не так уж велики, и он тщательно переписывает, показывая достойное наград усердие, однако из военного департамента его увольняют, определяя в партикулярный, и тоже на чиновничью должность в услужение к генералу. Он служит, сохраняя выправку и усердие и не так уж отказывая себе в чае и сахаре, но, соблюдая осторожность, а, вернее сказать, плюсуя ее с трудолюбием и выучкой, поскольку собирает на генеральскую шинель. **И** когда бы она еще была, да и была бы вовсе, когда противу всякого чаяния самый главный директор назначил нашему чиновнику не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей. Уж предчувствовал ли он, что чиновнику нужна шинель, или само собой так случилось, что через год-другой с небольшим он и свою шинель, подбитую разве собо-лем трех цветов, этому чиновнику отдал. А только тот привычки не изменил, а все плюсовал и копил, и вот, когда казалось бы нам со стороны, ему уже всего доставало, а шинель его никто (чего он страшился — вдруг придется впору) не осмеливался примерить (не то чтоб стащить) из страха, поскольку с этой шинелью он обрел и нрав ее, который смиренным назвать трудно; случись так, что история наша обрела вовсе фантастическое продолжение. **П**о Петербургу понеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущий какой-то утраченной шинели и под видом сташенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели:

на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной». — **Чушь** какая! — весело закричал Норштейн Винсенту. — Твоя история имеет конец, а история Башмачкина никогда не кончится. Во всяком случае мы не знаем, как она будет развиваться. По отношению к нему я испытываю такие же ощущения, какие меня заполняют, когда я гляжу на маленьких детей, играющих в песочнице. У меня сжимается сердце: они ведут себя, словно, исчезни кто из их жизни, ничего не поменяется. Они и не заметят. Им предстоит все узнать.

**И** фильм — это узнавание. Ты вступил на эту тропу — ты должен знать. **Когда-то** он говорил оператору Саше Жуковскому о тональности кадра, что в нем надо разгребать темноту. **Саши** нет, а Юрий Борисович разгребает, и рядом светло, а нарисованного и живущего своей жизнью на экране Акакия щемяще жалеешь: стертый, нейтральный, ни пола, ни возраста (существо) — незабываемый. Откуда он взялся и куда ведет?

— **Нет!** Ты посмотри, Юра, — он перевернул листок, посланный на землю воздухоплавателем, и показал строчки, написанные мелким аккуратным почерком, которых там раньше не было: «...**Он** мог вообще из яйца появиться. Такое существо должно было родиться каким-то совершенно другим способом, а яйцо — идеальная форма. Скорлупа разламывается, и там — сразу он, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, с небольшой лысиной на лбу, потому что он всегда таким был. **Женщина** Акакий Акакиевич, старик или дитя, не важно. Он — существо. Разве у ангела есть пол? Он трудится над нами. Он не знает, что он ангел. Ангелы, они же не абы что, они трудящиеся...» **Шар** улетел. Юрий Борисович по-детски засмеялся, сделал из листочка бумажного голубя, и тот, взмахнув крыльями, поднялся в небо. Я посмотрел на Норштейна. Он может то, что другим недоступно, труженик, несколько рыжеват... **Что-то** есть в нем. Кто знает...

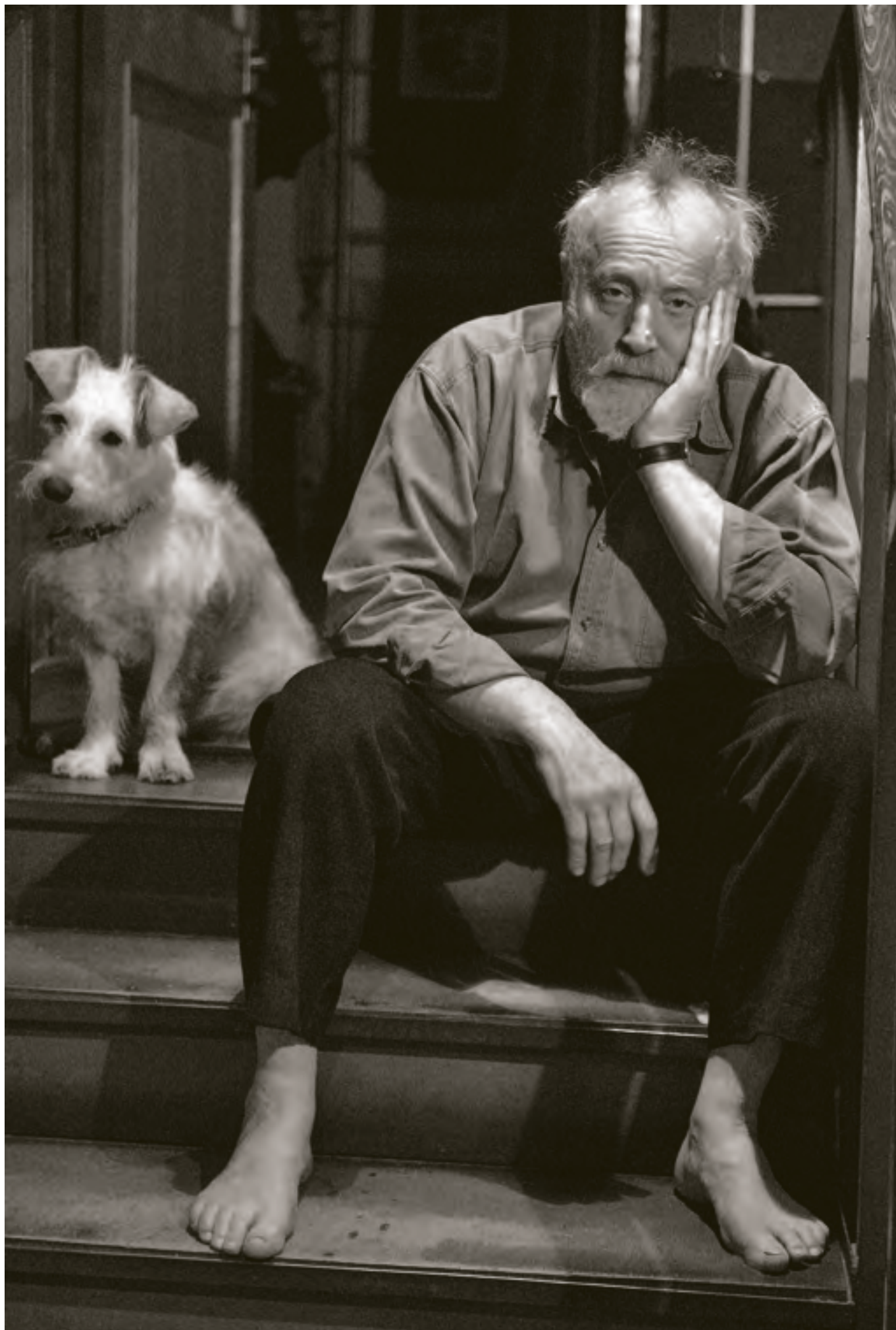
«**Шинель**» (приложение) **Когда** я показал текст «Разгребаящий темноту» Норштейну, он нашел фактические ошибки: родился он действительно в деревне Андреевка, но не Каменского, а Головищенского (согласитесь, разница есть) района Пензенской области, и по времени кое-что было наврано, пусть и не сильно. Словом, он был огорчен. Я тоже огорчился и все тут же исправил, так что теперь мы с вами читаем издание исправленное и дополненное. Дополнено, впрочем, оно не мной, а воздухоплавателем Винсентом Шереметом, который участвовал в нашем диалоге с Юрием Борисовичем, посылая с неба (из монгольфьера) листочки с текстами, претендующими на свое понимание роли Башмачкина в жизни человечества. Подобрали, однако, мы не все его фантазии. **В** полосе отчуждения близ платформы Ленинградская Рижского направления валялась папка, на которой мелкими аккуратными буквами, не соединенными между собой хвостиками, было написано: «Кое-какие соображения о “Шинели” Н. В. Гоголя в приложении к возможному спектаклю на сцене “Современника”». В роли Акакия Акакиевича — Марина Мстиславовна Неёлова. Предложить Валерию Владимировичу Фокину. Количество страниц — 50».

**Я** открыл папку. Она была пуста. **Какая** жалость. **Отправившись** на спектакль, я застал в театре Неёлову. Вот только что она являла собой трогательное и беззащитное существо, несуразное и глубоко одинокое, в перепутанных («левый-правый») башмаках, в лысом чулке — парике, с глазами, вопрошающими «за что?», и вдруг в момент, точнее в шесть моментов (вы их видите) Башмачкин на моих глазах преобразился в прекрасную женщину.

**В** грим-уборную вошел автор спектакля Фокин. — **Вы** видели этот текст? — я показал им пустую папку воздухоплавателя. — **Да**, — сказал режиссер. — Это его идея превратить Марину в Акакия. Но текст я вернул. Он что, исчез?

— **Исчез.** Может, ветром раздуло. Пойду поищу вдоль путей. **Мои** поиски лишь частично увенчались успехом. Рядом со стрелкой лежало несколько разрозненных грязных листочков, на которых вверху карандашом было написано «Общие соображения. Черновик». Подобрал их, я двинулся вдоль путей к Покровскому-Стрешневу и по дороге нашел еще несколько разрозненных страничек, на этот раз линованных, без нумерации страниц. «Соображения по поводу возможного решения спектакля. Черновик» — было написано на одной из них. **Осмелюсь** предложить вам эти записи, не тронутые редакторской рукой и не выстроенные в сюжет, а как их удалось прочитать. «**Общие соображения. Черновик**»

**У** Натальи Нестеровой (члена собрания под обложкой этой книги), есть цикл библейских картин. Среди них «Распятие»: Христос на кресте, а внизу бесконечное количество людей. Огромное количество голов-шариков. Когда я спросил Наташу, кто это, она ответила: «Ну, это такая человеческая икра». Акакий Акакиевич и есть человеческая икра. На наших глазах Гоголь из икринки выращивает человека. Описание этого процесса — библейская история — почти как описание явления Христа. **Он** не просто надевает



Юрий Норштейн и Кузя на пороге студии / Москва / Россия



шинель — он входит в нее, как в Храм. И становится другим человеком. После разрушения Храма его жизнь теряет смысл. **Он** — удавшийся человек настолько, насколько у него было жизненных амбиций. В жизни Акакия Акакиевича существовала гармония потребностей и возможностей. У него была небольшая творческая потребность — переписывать буквы. И он ее удовлетворял. **И** потому был свободен... Свободен в достаточно узком коридоре. Если б он прожил в своей шинели, этом новом Храме, подольше, этот коридор был бы ему уже мал. Свобода это не результат, а процесс. **Не** все, к счастью, вышли из гоголевской «Шинели». Кто пребывает, тот сохранил чувство сострадания... **Юрий** Норштейн много лет снимает фильм о Башмачкине и будет еще долго снимать. **Вы** помните, как Акакий Акакиевич собирал деньги на свою шинель? Со всякого рубля откладывал по грошу в небольшой ящичек. Так работает и Юрий Борисович: каждый год прибавляет что-то к уже сделанному. Он тоже переписчик. И в результате будет великая вещь. Уже великая — я видел двадцать с лишним минут картины, и они меня потрясли. **Иногда** я задумываюсь о том, что такое успешная жизнь. Нет примеров для подражания, ибо подражание лишает человека выбора неверного, а значит, нехоженого пути. И к тому же нельзя прожить повторимое неповторимому. А задуман именно так. Но знания обогащают. Значит, важны. **Для** меня успешная жизнь — это жизнь сосланного в Богом забытый поселок Темиртау метеоролога и астронома Анатолия Витальевича Дьякова, который всю жизнь строил теорию предсказания погоды, связывая ее с солнечной активностью, построил и был счастлив, что она подтвердилась, хотя и не утвердилась, а также несказанно радовался, что жена принесла со станции ведро тюльки («тюлька же замечательная закуска!»), и читал детям французские книги, других у него не было, переводя прямо с листа. Это жизнь Юрия Константиновича Горелова, который вопреки могучей всеразрушающей системе сохранил заповедник Батхыз и его животный мир; сторожа на рынке в Прокопьевске Селиванова Ивана Егоровича, наивного философа («любовь — это нравственное притяжение одного тела к другому») и художника, рисовавшего своего петуха анфас; Ивана Андреевича Духина, кровельщика и энциклопедиста; жизнь рядового солдата Алексея Богданова — низкорослого мужичка в разбитых сапогах и с каким-то нелепым букетом в руках, который не шинель, но одиннадцать детей потерял, пока освобождал мир от фашизма. Он мог бы упасть и умереть от горя, от обстоятельств жизни, которые твердили ему, что он никчемный человек, а он сохранил достоинство! **Я** влюблялся в таких людей, дружил с ними годами. Не школа, не семья, не улица — они учили меня... Они моя родина. **Наверное**, во мне Акакий Акакиевич уместился в полной мере. И это не я встречаю людей — они сами встречаются. Да, собственно говоря, подобный тип присутствует, наверное, в каждом человеке, как та самая икра. Только когда мы вылупливаемся из нее, то, случается, теряем внутреннюю память. И заболеваем высокомерием и спесью. **Брат** ли нам Акакий Акакиевич в наше жестокое время? **И** содрогнемся ли мы над трагедией какого-нибудь Башмачкина, как тот молодой человек у Гоголя, который, услышав мольбу о жалости, «вдруг остановился, как будто пронзенный»? Если содрогнемся, то ненадолго. У нас другой порог содрогания — магия больших цифр больших несчастий, увы, действует. **Совершенная** техника превращает в пользователей тех, кого еще вчера можно было звать собеседниками. Личный контакт, при котором только и возможно сострадание, скоро будет лакомым и редким блюдом, на манер какой-нибудь заграничной спаржи. **В** обществе разливается какая-то тоска по величию. А настоящее величие — это то, что Гоголь увидел Акакия Акакиевича Башмачкина. **«Соображения по поводу возможного решения спектакля. Черновик»** **Он** пишет разные буквы: кириллицу, японские, арабские. Ему доставляет удовольствие слово, воплощенное в форму. Искусство каллиграфии. **И** весь его диалог — диалог со словом. **Буквы** надо писать по воде. А сверху под углом сорок пять градусов — зеркало. Вот он приходит примеривать, и нормально, что у портного есть зеркало. А потом портной со сцены сходит, и остается только зеркало. Пустое. Перед зеркалом лоток: он пишет эти буквы, потом вода пускается в лоток, и буквы погибают. В зеркале видно, как они размываются. Он следующий ряд пишет, они опять размываются. И потом третий какой-то ряд, уже быстрее... Он пишет одно слово: «время», на всех языках — «время»... Пишет, пишет, морщится: смыло... Он опять пишет «время».

**Он** как бы повторяет текст, потому что время — главное. В углу — гигантский наклонный стол, на столе — огромные листы бумаги. Он возвращается к нему, ползает по столешнице, пишет, сползает, клонится, ложится, сползает уже в зал. Бумаг много, прошения, свидетельства — знаки. Заглавия бумаг, которые обозначают жизнь. **Он** все время пишет, у него синдром писания, работы. **Акакий** совершенно не унижен своей жизнью. Как он может быть униженным, если у него есть чувство? Он обделен любовью. Но сам он

любит. Слова. Эта любовь вполне религиозная. Все в религии любят слова. То есть любовь Башмачкина вполне укладывается в религиозную догму. Его любовь — слова. **А** что Христос без слов? Он сказал: встань и иди! Он решил само слово — как задачу. **...я** — как мельничное колесо, вода течет, я кручусь.

**Все** возникает из воды, в том числе и город. Можно свернуть в рулон задник декорации и поместить его в длинный короб с водой, чтобы он раскручивался из воды. И когда этот задник с написанным на нем Петербургом вытаскиваешь вверх, по вырастающему на глазах городу течет вода, с него льет, капает. **Сверху** на мокрую декорацию выдуваем белые перинные перья, которые прилепляются к мокрому заднику. Пока идет действие, декорация подсыхает, перья начинают опадать. Одно падает, крутятся, другое, третье... Снег пошел. **Старая** его, маленькая шинель должна его преследовать, должна ходить за ним. Он, как собаку, выставляет ее за дверь... Захлопывает дверь. Стук, он открывает — входит старая шинель. **Это** бывшая жизнь, прошлая вера, языческие боги. Он из нее вышел, и теперь она ходит за ним. Он отвергает ее и возвращается к ней, потому что расставание сложно... И потому еще, что новая шинель требует усилия и подвига. Подвига почти в религиозном смысле. **Со** всем, что ты построил, ты вступаешь в отношения. И отношения с шинелью тоже могут иметь свой путь. **Легко** представить, как он вырастает в этой шинели. Огромный конус, и наверху — где воротник, голова маленького, но все-таки человека. **Когда** он входит в него, мир преображается. Теперь мир лежит внизу, а он возвышается над ним. Акакия поднимают туда на лонже, к вершине шинели. И вот он уже наверху, в храме. Шинель — живая. С каждым стежком портного она вырастает. Вся шинель из кусков, как любая жизнь, как мир... **Он** их собирает. Каждый взнос — лоскут на строительство. **Павел** Петрович шьет не воздух. **Шинель** может быть без погон, без петличек, но она большая, потому что она выросла из души. Павел Петрович ее меряет на Акакия Акакиевича, и она даже маловата ему вначале. Он продолжает ее обшивать, такими кругами, и она поднимается, вырастая в Шуховскую башню. И оттуда человек смотрит сверху. И потом все начинает двигаться вокруг него. Вокруг него шинелишки, ладные, в позументах, с кантом брововыми воротниками дразнят, укоряют, смеются. Без голов. **Шинель** стоит громадная, гордая (хоть воротничок-то из кошки, скорее всего, дрянной). Но под градом этих насмешек и презрения она сламывается, проседает, как сугроб. **И** вдруг кто-то говорит (некий голос, предположим): «...но он ведь человек, он брат ваш...» И шинель снова обретает осанку. Каркас поднимается, расправляется. **Текст** отделяется от действия, от героя — мощная, самостоятельная энергия. Шинель он строит из собственных кирпичиков, своих потерь, жертвований, унижений, собирает из себя. Его шинель не может быть примерена ни на кого. **Воровство** — это не попытка присвоить чужое, а терроризм, в широком смысле, стремление разрушить существование, в котором тебе нет места. И крушение шинели — акт терроризма. Утверждение отсутствия. И тогда как воры могут забрать у него шинель? Они входят в шинель и вытаскивают его: вот голова есть, а потом головы нет! Они его сдергивают, и как только этот храм лишается человека, с него опадает все, чем он был обшит, все усилия, и остается голый каркас. **Огромный**, пустой, как клетка. И в этой клетке — маленький человек, лишенный этого храма, этой шинели. Он выходит из этой клетки, бродит среди других шинелей. Может быть, это его попытка войти в общество, попытка потерять лицо, он хочет быть как все. Но судьба обрушивает эту идею. Храм мстит ему за то, что он этого хочет. **И** он умирает. **Его** хоронят: открывают гроб — в гробу его нет. **Мундиры**, шинели — все без голов, словно портновские манекены, собираются и начинают говорить о нем. **Вдруг** он появляется в этой клетке, начинает летать и пролетает сквозь клетку на волю. И когда он парит над ними, когда они начинают думать, чувствовать — из этих мундиров высовываются головы. **Сострадание** проявляет в них человека. **Если** храм может войти в меня, то и я могу войти в храм. Когда дух Акакия появляется, в голом каркасе возникает свет. И они прячут головы. Только один человек стоит: он брат ваш... **Шинель**, лишенная Акакия, опадает, сваливается, складывается, как кринолин на кольцах, опускается, и тогда он в шюрточке, крохотный такой человечек, совсем осторожно вступает внутрь опавшего на сцену остова шинели. **Конструкция** вырастает, распрямляется и вместе с парящим в ней Башмачкиным со свистом, как ракета, уходит наверх. **На** сцене остается круг ослепительного света, идущего из основания шинели. Ракетный грохот продолжается. Освещенное пятно ползет по сцене, и те, на кого оно падает, роняют одежды-различия и обретают отличающие их друг от друга лица. И узнают в себе людей. **Звук** от улетающей шинели страшный. Световой круг от унесшейся в небо шинели идет по темному зрительному залу и останавливается. Среди зрителей в чистом свете встает девушка и начинает обнажаться. Свет гаснет. Тишина.



Протоиерей Алексей Уминский / Москва / Россия



Михаил Ходорковский и Платон Лебедев в «аквариуме» Хамовнического суда / Россия





Звучат дунчены. Через несколько минут наступит важный момент





Te Vega и айсберг



За их спинами самая дальняя суша на земле, а небо над головой не имеет конца





Количество каменного народа на Пасхе приближается к тысяче, а живых людей раза в четыре больше

**ГРАНИН** **У** Даниила Гранина я забыл кепку. Приехал к нему на Петроградскую и от радости встречи и общения взял да и забыл. Так был увлечен беседой и фотографированием, что и не вспомнил о ней. Знакомые, навещавшие Гранина, хотели привезти ее в Москву, но он сказал: пусть сам приедет. Вот и радость. Есть повод заглянуть на Петроградскую сторону и в старой питерской квартире посидеть с любимым мной человеком, проживающим долгую жизнь достойного гражданина и мыслителя. **Он** живет со страстью, которую сохранил в полном соответствии с заложенным духом. Другими словами, делает, что хотел. А хотел быть честным по отношению к солдатам, к блокадникам, к ученым и не так уж ученым людям, потерпевшим от режима, и к самому режиму... **И** всегда притягивал своей отдельностью: писатель он, хоть и вышел из советских, а какой-то другой — несмиренный. Словно есть у него собственная конституция совести. Он, может, и пытался ее иной раз нарушить, а она ему диктовала: нет у тебя, Даниил Александрович, коммунистической морали, есть мораль человеческая — всегда одна. И нравственность твоя не корректируется строем. Вот он и пребывает со своим основным законом (от рождения — 1 января 1919 года) во все наши времена. **Не** подписал письмо против Сахарова, поддержал Синявского и Даниэля, а высылку Солженицына не поддержал. Первым рассказал правду о Зощенко. **Мы** его читали доверчиво. Не ошибались. И теперь верим. **Он** размышлял о том, что хорошо знал и о чем тяжело думал. О выборе в конечном счете. И о войне, на которой воевал исправно — с сорок первого, когда пошел ополченцем на фронт под Ленинградом, и до Восточной Пруссии, где командовал батальоном тяжелых танков. Не тех ли танков, которые он делал на Кировском заводе, будучи инженером до войны, и куда его вернули за несколько месяцев до ее окончания?... **Вот**, думаю, приеду за кепкой, сядем в кабинете у стола, заваленного рукописями, или на кухне и поговорим. Например, я спрошу: — **Если** родина, дорогой Даниил Александрович, это любовь к ближним своим, к языку, культуре, обычаям, наконец, к этой Богом данной тебе земле, то какое отношение (к ней) к ее образу на нашей с вами долгой памяти имели те, кто лежал в мавзолее, те, кто стоял на мавзолее и кто нынче за ним сидит. И всех любить?! **Будь** власть родиной, сколько раз за век мы поменяли бы ее? Тут вы ухмыльнетесь, а я, например, опять спрошу: — **Отчего** только война пробудила наших людей к частично осознанному участию в своей жизни? Не хотелось на родной земле идти под чужих зверей? Дом защитили, а возвращались с войны незащищенные. Бывало, что и не в дом, а в ссылку или в резервации, чтобы своим изувеченным видом не портить облик родины — власти. Те, кого призвали на войну, и те, кто сам пошел, рекруты и ополченцы, — все, вернувшись, оказались отработанным материалом. И высились разрушенные жизни терриконами отвалов над равниной счастливой страны. А в отвалах были золотые слитки. **Что** вы ответите, я, понятно, не знаю, но думаю, слова ваши помогут понять, как мы с вами прожили время, и что мы проживаем теперь. **А** кепку я опять забуду, чтобы вернуться, — это ведь только начало разговора.





Волшебная девочка Тенсинг / Самар / Мустанг